

---

---

Александр ЛЕПЕЩЕНКО

# ВЛАДИМИР НЕОБХОДИМОВИЧ

## Повесть

### 1

В глубине весны, близ полудня, начался в школе, где я служил, то ли допрос, то ли расспрос. И подвернулось — против памяти закону нету — такое: «Был я до службы в медведях да в лесу жил — и теперь медведь, и тож в лес иду...»

— Под запись, — сказал, словно преграждая мне путь, следователь и включил диктофон. — Семнадцатое апреля две тысячи девятнадцатого года... Надеюсь, вас диктофон не смущает?

— Нисколько, — ухохотался я в кресло напротив следователя, человека с большой головой, большими очками и бородой лопатой.

— Сущий Константин Иванович, — представился бородач, — я выясняю обстоятельства смерти вашего коллеги, учителя литературы Владимира Николаевича Соколова.

Сущий неуклюже поправил очки и оглядел учительскую:

— Назовите себя!

— Алексей Алексеевич Гореликов, — проговорил я, растягивая слова. — Учитель-предметник, милостью Божьей...

— Какие отношения связывали вас с покойным? — будто и не заметил моего ерничанья следователь.

— Кажется, дружеские.

— Так вам кажется?

— Поймите правильно, Константин Иванович... Между мною, двадцатишестилетним, и им, сорокашестилетним, «дистанции огромного размера...»

— Да, да, понимаю, — кивнул следователь. — И все-таки что вы можете сказать о Соколове?

— Да то же самое, что и Владимир Набоков когда-то... «Что же это за Соколов? Советский? Или из диссидентов? И что за фамилия для писателя? Не фамилия, а какой-то шпионский псевдоним...»

— Это о другом Соколове? Да?

— Естественно, о другом.

---

Александр Анатольевич Лепещенко родился в 1977 году. Окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, главный редактор литературного журнала «Отчий край». Лауреат премии имени Виктора Канунникова (2008), лауреат Международного литературного форума «Золотой витязь» (2016 и 2018), лауреат Южно-Уральской международной литературной премии (2017). Автор четырех книг прозы. Публиковался в литературных журналах «Московский вестник», «Нева», «Литература», «Приокские зори», «Истоки», «Волга XXI век», «Образ», «Камертон», «Перископ» и др. Живет в Волгограде.

— Гм, Алексей Алексеич, а ваш друг... Он что, был писателем?

— Думаю, был... Просто не знал об этом...

— Ну, впрочем, — согласился следователь, — если судить по его дневнику, то это действительно так...

— Надо же, он вел дневник... Я бы полюбопытствовал... Э-э, чего там к «выпяченной наблюдательности прилипло...»

— Ответьте, — вскинулся вдруг Сущий, — а Соколов был таким же ироничным человеком, как и вы? Что вас сблизало все-таки?

Кровь плеснула в голову, и я не ответил. Только ослабил узел черного в белый горошек галстука.

— Что же вы молчите, а?

— Ну, хорошо... Соколов был ироничным человеком... Довольны?

— А зачем вы подражаете его манере общаться? — не удовольствовался моим ответом Константин Иванович. — Ведь вы подражаете...

— Думайте, что хотите...

— Как это понимать?

— А никак... К чему тучи пестрых разговоров? Оставим их...

— Нет, не оставим, Алексей Алексеич... Вы должны мне помочь...

— Да ничего я вам не должен. Я служу по своей части, а вы по своей... Э-э, по части неприятностей, как говорится...

— Так поможете или нет, черт бы вас побрал...

Возмущение следователя было таким искренним, таким натуральным, что я призадумался. С минуту не отводил от него взгляда и наконец сказал:

— Извольте, Константин Иваныч, я расскажу вам, что знаю... Я сделаю это в память о Владимире Неодимовиче... А впрочем, память ненадежна, как и солнечный свет, проникающий в учительскую...

— Вы сказали: в память о Владимире Неодимовиче... — ухватился за фразу следователь. — Я не ослышался?

— Все верно... Так его звали те, кому он помог, а помочь он успел очень многим... Да, для многих сделался Неодимовичем... Э-э, не забуду, как он появился в школе... Приехал, кажется, из Петрова Вала или навроде того... И в первые же дни принял классное руководство в девятом «в» — от нас ведь учителя отказывались. Все-все кобенились. А он ничего, взял на себя смелость учить нас. Даже обрадовался. Такой был несуразный! Ну, представьте: полная ваша противоположность. Никакой, пардон, медвежатости. Ну, вот никакой... Смуглый, невероятно угловатый человек с как будто удивленными, чуть навькате глазами. Впрочем, серыми. Я бы сказал, даже сталистыми. Рот? Э-э, большой одухотворенный... Руки же, руки, так те просто обезьяньи. Да еще и в шляпе, которую иногда забывал снять в классе. Такая, знаете ли, черная, фетровая, с широкими полями — «останки минувшей катастрофы». Соколов ходил в ней на католического священника. Этакого потасканного патера. Ну, помните... «Я тело износил на горестных дорогах...» Э-э, словом, встреча наша состоялась и была окрашена в тона весьма ядовитые. Особенно вызмеились на Соколова наши девки. Трудно сказать, чем конкретно он им не угодил: мятым ли костюмом, дурацкой ли шляпой, нездоровым ли видом? Но они обшипелись. Все, кроме Эммы Вилкас.

Ассирийская борода колыхнулась, и ее обладатель проговорил:

— Эмму я отлично хорошо помню, поскольку расследовал убийство ее отца. Это было то еще дело... Скандальное даже по волгоградским меркам... Тогда, кстати, я и познакомился с вашим Соколовым...

Следователь помолчал, подумал и сказал:

— Прошу вас, Алексей Алексеич, рассказывайте дальше. Это — важно...

— Ну, раз важно, — произнес я, весьма озадаченный неожиданным признанием Константина Ивановича, — то попытаюсь еще что-то выдрать из своей памяти... — Э-э, хотя бы это... Наши девки как-то прознали, что Соколову изменила жена и что он сам якобы тому виной... Потому как неудачник... Что они, дуручки дурные, понимали? Впрочем, в вайбере отписались... Брызнули яда... И все, все читавшие, травились... Только вот на следующий день Соколов оставил наших девок после уроков и что-то им про себя объяснил. Вмешал, значит, свой голос. Запись из вайбера улетучилась, девки принесли, как говорится, свои глубочайшие извинения... И вдруг — это самое поразительное — зауважали Соколова. Знаете, как это проявлялось? А так: стоило кому-либо заикнуться о нем — тут же поднималось гусиное гоготание. Давалось целое представление. И таким вот антраша внимание заикнувшегося полностью захватывалось, он покорялся воле наших гусынь, делаясь их несчастной жертвой. Да, дорого бы я дал, чтобы узнать: что же все-таки сказал им Владимир Необходимович в тот раз... И уж неважно, с дрожью в голосе или без таковой... Да, я, конечно, спрашивал потом у Эммы, но даже она не поделилась... Что странно...

— Что, конечно, странно, — вклеил Сущий. — Но отчего вы так выделяете Эмму? Именно ее?

— Как вам сказать... — тут я несколько растерялся. — Мне нравилась эта девочка со всезнающими глазами... И, по-моему, я тоже ей нравился... Ну, я так чувствовал...

— А вы, случайно, не чувствовали, что происходило с этой девочкой? — спросил Константин Иванович, помрачнев. — И происходило долгие годы... Я имею в виду эти ее ненормальные отношения с отцом...

— Я не понимаю, к чему вы клоните...

— Не понимаете, и не надо... Давайте продолжим...

— Продолжим?

— Алексей Алексеич, вы не гневитесь, — заторопился следователь. — Я ведь не громоподобную ложь изрек...

Но я его уже не слушал и крикнул:

— Да катитесь вы, знаете куда...

— Все, все... Остыньте... Какой вы, однако...

— Я не паштет из гусиной печенки... — распаялся я все более. — Вам ясно?

— О, извините, Алексей Алексеич, если обидел! Право, извините!

И вновь слова следователя показались мне искренними. А впрочем, я уже и не знал, верить им или нет. Странная манера Константина Ивановича обострять разговор сбивала с толку. Он словно бы переменял маски. То он как жаждущий помочь всему роду людскому. А то — как чиновник, которого пытаются выгнать с работы. Уперся и нейдет. Да, такие вот ассоциации он у меня вызывал. Признаюсь, даже злил. Может, он этого и добивался? Но зачем? Не постигаю...

Колыхание ассирийской его бороды неожиданно меня рассмешило.

— Смеетесь, — проговорил Сущий, — значит, обиды на меня не держите... Ведь так? И тут он схватился за левый локоть.

— Что с вами? — посмотрел я пристально на следователя и потушил смех.

— Не знаю, будто мышь грызет.

— Не ревматизмом ли вы страдаете?

— Говорю, не знаю. Да уже и прошло.

— Точно?

Константин Иванович кивнул, но было понятно, что ему все еще не по себе.

— Значит, дальше? — выдавил я и продолжал: — А дальше было так... Владимир Необходимович не стал кричать в бочку, а предложил нам флешмоб... Э-э, многое множество розданных книжек следовало прочесть и обменять. Каждый, таким образом,

должен был вовлечься в мощные исторические водовороты Василия Яна, кругосветные путешествия Жюль Верна и опасные расследования Артура Конан Дойла, проникнуться фольклорными сказаниями Акутагавы и апокалиптическими предчувствиями Брэдбери (простите, грешу косноязычием), узреть личностные раздвоения Стивенсона и подростковые метания Сэлинджера, почувствовать стирание граней между настоящим и прошлым, миром и войной, реальностью и фантазией, безумием и трезвостью Воннегута... И, конечно же, воспринять повседневные чудеса Габриэля Гарсия Маркеса, нареченного индейцами племени вайуу Великим сказителем... Словом, это были те многие прочие, кого в школьную программу отродясь не включали... А еще мы должны были увидеть экранизации их романов, повестей и рассказов. И мы увидели. Потом, естественно, обсуждали, пуская свою мысль не страшась, что она споткнется или осечется. Замечу, заинтересовались даже никогда ничем не интересовавшиеся. Вот это был эффект! Теперь бы я назвал его синергетическим. Знаете, как Соколов этого добивался? Рассказы о писателях он иллюстрировал любопытными фактами. Думаю, Константин Иваныч, и вам бы это понравилось... Ну, судите сами... Наблюдательность Конан Дойла была столь острой, что он мог, лишь взглянув на человека, определить его привычки и род занятий теми же приемами, которыми он вооружил свое творение — Шерлока Холмса. А еще время от времени писатель брался за раскрытие запутаннейших преступлений и благодаря своему дедуктивному методу раскрывал их. Чего стоило дело одного только несчастного Джорджа Идалжи, приговоренного судом к семи годам тюремного заключения, но спасенного сэром Артуром Конан Дойлом! Ведь последовало освобождение, оправдание и восстановление Идалжи во всех правах. Ну, в общем, как-то вот так... Длился же соколовский флешмоб месяца полтора, не более. И Соколов добился своего — распалил наше воображение как следует. И только тогда обратился к школьной программе. В тот год нам предстояло... А лучше сказать, предстояли... «Герой нашего времени», «Мертвые души» и «Горе от ума».

...Умом я понимал, что отвечаю на вопросы. Но на вопросы не следователя, а Владимира Необходимовича, зазвавшего меня к доске.

## 2

— Я тут размышлял о Печорине...

— Так, так, Гореликов, — разохотился вдруг Владимир Необходимович, — и к чему же ты пришел? До зарезу любопытно...

— Я бы с Печориным подружился... — выпалил я. — Только с девушкой бы своей знакомить не стал...

— Значит, вот так... — сказал Соколов, потирая ладони одна о другую. — Ну, допустим, это резонно: не знакомить своевольного Печорина со своею зазной... А теперь развивай... Развивай, Алеша!

И только он сказал это, я будто с качели сорвался:

— Подружиться с Печориным — это как если бы с самим Лермонтовым подружиться... Поэтом, которого ставят в пару с Пушкиным по масштабу дарования... Только Пушкин — «солнце нашей поэзии», а Лермонтов — «ее полуночный ангел»... В Печорине же он «нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых». Но, по-моему, больше все-таки свой. И это не «пустая и глупая шутка»... Пусть Лермонтов и объявляет ее нелепостью в собственном же предисловии к роману... С толку сбивает лишь то, что Михаил Юрьевич как бы разделяет свою личность на двух героев — на Печорина и доктора Вернера... Конечно, нужно взглянуть в портреты этих двоих... Печорин дается красавцем, таким идиолом, как позднее бесноватый Ставрогин у Достоевского,

а вот доктор Вернер — ну, совершенно Лермонтов... Вот вспомните роман... «Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно...» А вот в чем я пока не разобрался, так это в том: верит ли Печорин в Бога... Может, и верит... Но если верит, то почему же увязывает веру с любовью к женщине... Ну, что-то наврODE: «Полюби меня, и я поверю в Бога...»

— Боговерующий Печорин... Ну, ты, Горелый, и наблевал!

— Что? — не понял я.

— Цыц, Судейкин! Не выкрикивай с места! — болезненно улыбнулся Соколов. Выглядел он не херувимски: костяного оттенка щеки с сизо-темными пятнами, синим воском налитые скулы, воспаленные губы.

— Владимир Николаич, да почему: цыц? — не унимался Судейкин, излапывая Соколова глазами. — Вам же самому смешно... Вы ведь тоже смеетесь над Богом, в которого Печорин, может, и верит...

— Ты ошибаешься, Аркаша... Я не смеюсь... Это — смеются «наши». Это — смеются бесы. А главный из них, Петруша Верховенский, на сей счет говорит: «Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают... Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают...»

И тут воцарилась тишина. Странная такая... Учитель задумчиво посмотрел на рыжую голову Судейкина, на его шевелящиеся губы и тихо произнес:

— А мы знаем, уже знаем — «питомник нового человека» не имел ни малейшего чаяния... Не мог иметь, поскольку сие и утопия, и «ложь, замаскированная лучше правды». Вот поэтому, Аркаша, я не смеюсь... Постигаешь?

Судейкин взметнулся, как рой беспорядочных мыслей.

— Садись... Ну, садись же! — возвысил голос Владимир Необходимович. — Чего вскакиваешь?

— Да я... это я так... — густо покраснел Судейкин. — Я ведь тоже не смеюсь... Здесь другое... Да-да, другое... Печорин далек не только от Бога, но и от людей... И прежде всего простых людей — «славянских подданных с бородами душами...» Нигде в романе мы не встречаем даже малейшего участия его... Ну, нигде... Ни словом, ни делом... Вот это и мерзит...

Шляпа перекочевала со стола на затылок, словно увенчала здание.

— Ах! Боже мой! Он карбонари! — добрый, почти материнский взгляд отыскал Судейкина. — Аркаша, это про тебя... И кстати... Ты знаешь все, но не точно... Впрочем, «четверку» свою заработал...

Я глянул на нашего рыжего и подумал: «Ну, натурально коваль после работы... Только рукава не засучил...»

— А если еще дополню? — разгорелся он вдруг вопросом. — Ad notam... Э-э, для сведения...

— Дополни, алтынник ты этакий, дополни... — как сквозь огнезащитное стекло поглядел Владимир Необходимович. — Но учти: других не перебивать, иначе выгоню из класса...

Еще мгновение — и «огнезащитное стекло» исчезло:

— Так, Гореликов, у тебя все?

— Вроде все, — почтительно и равнодушно пожал я плечами.

— Ну, тогда присаживайся и передавай дневник для «пятерки».

— Вилкас, желаешь к доске?

— Желаю, — белое лицо Эммы и длинная линия ее шеи были ясно видны в ярком свете.

— Прошу, Эмма! Что у тебя?

Эмма Вилкас посмотрела сначала на Соколова, а потом на меня, видимо почувствовав мой долгий взгляд. Черные глаза ее сделались бархатными — ну, прямо как у княжны Мери.

— Я бы все-таки вернулась к тому, что сказал Гореликов... — И тут она бросила на меня уже не взгляд, а сети. И меня опутало воспоминание: «... представьте себе женщину, она столь прекрасна, что когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать нет радостным слезам своим...»

— Ну, так вернись! — кивнул Владимир Необходимович.

— Ладно, хорошо, — согласилась Эмма. — Я тоже полагаю, что Лермонтов в «Герое нашего времени» изобразил никого иного, как себя. Ну, возьмем его собственную дуэль и уход... Несчастный Мартынов, которого на все времена ослабили убийцей Лермонтова, доживал свои дни под тяжелым гнетом людского осуждения и отчуждения. А ведь к дуэли Михаил Юрьевич его буквально вынудил... Знаете, я тут кое-что выписала... Вот послушайте... Это — свидетельство князя Александра Васильчикова: «Мы жили дружно, весело и разгульно, как живет в этом безалаберном возрасте двадцати-двадцати пяти лет... Однажды на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым... Выходя из дому на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: „Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах“, — на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: „А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения“... Я как свидетель дуэли и друг покойного поэта, не смею судить утвердительно, как посторонние рассказчики и незнакомцы, и не считаю нужным ни для славы Лермонтова, ни для назидания потомству обвинять кого-либо в преждевременной его смерти. Этот печальный исход был почти неизбежен при строптивом, беспокойном его нраве и при непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести (point d'honneur), которое удерживало его от всякого шага к примирению... Перед самой дуэлью, уже у барьера Лермонтов с легким смехом сказал, что не будет стрелять в „этого дурака“. Сказал достаточно громко — Мартынов мог это слышать...»

— А мог и не слышать... — вздохнул Соколов и поглядел нездешними глазами. — Скажи, Эмма, ты закончила?

— Ну, мне добавить нечего...

— Пока не садись... Послушай... Набоков считал, что женские образы вообще не удавались Лермонтову. Понимаешь: вообще... Мери, мол, — типичная барышня из романов, напроць лишённая индивидуальных черт, если не считать ее «бархатных» глаз, которые, впрочем, к концу романа забываются. Вера совсем уже придуманная со столь же придуманной родинкой на щеке... Бэла — восточная красавица с коробки рахат-лукума... Согласна ли ты с этим набоковским «вообще»?

— Знаете, Владимир Николаич, я не раз мысленно изымала Печорина из романа... И ничего — женские образы не распадались... Ну, как бы это объяснить... Представляли живыми и целостными, что ли...

— Значит, изымала Печорина из романа... Ангел-барышня, ты удивляешь меня... И уже только за это тебе «пятерка»...

Соколов как бы обнял Эмму взглядом и, обращаясь уже ко всем нам, прибавил:

— Учитесь, ребяташки!.. Что говорит! и говорит, как пишет!

— Может, и я удивлю, а? — тряхнул рыжей головой Судейкин.

— Аркаша, я заказывал перебивать? — серые глаза Владимира Неоходимовича по-суровели. — Просил я помолчать, не велика услуга...

— Ну, заказывали... Ну, просили...

— Ну, так убирайся, покуда тебя черти не вздули!

— Я не буду больше, — закаялся Судейкин. — Вот клянусь, что не буду! Да и послушать охота...

— Ишь ты, послушать охота... — смягчился вдруг Соколов. — Смотри же, ласкатель, не сделайся клятвopеступником... Ладно, чего уж там... Все послушайте!.. Это написал Владимир Набоков... «Едва ли нам стоит принимать всерьез, как это делают многие русские комментаторы, слова Лермонтова, утверждающего в своем „Предисловии“ (которое само по себе есть искусная мистификация), будто портрет Печорина „составлен из пороков всего нашего поколения“. На самом деле это скучающий чудак — продукт нескольких поколений, в том числе нерусских; очередное порождение вымысла, восходящего к целой галерее вымышленных героев, склонных к рефлексии...» Ну и так далее... И тому подобное... Только вот «скучающий чудак» — это все же сам Лермонтов... Да, ребяташки, факты есть факты... «Ядовитой гадиной», которую пора «прочитать», называли Лермонтова пятигорские однополчане. А Владимир Соловьев и во все обвинял поэта в сатанизме: «С детства обнаружили в нем черты злобы прямо демонической, — сообщал сей пристрастный исследователь. — В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, осыпая ими дорожки... Взрослый Лермонтов совершенно так же вел себя относительно человеческого существования, особенно женского. И это демоническое сладострастие не оставляло его до горького конца. Но с годами демон кровожадности стал слабеть, отдавать большую часть своей силы своему брату, демону нечистоты... Осталось от Лермонтова несколько истинных жемчужин поэзии, затерянных в навозной куче свинства, в обуявшей соли демонизма, данной на поправление людям по слову Евангелия...»

«Обтолковать, обговорить, обдумать», — мелькнуло у меня.

Владимир Неоходимович умолк, стер с доски и повернул к нам лицо, с выражением упрямым и в то же время зовущим.

— Впрочем, о Лермонтове известно и другое, — сказал, облокотившись о парту, Соколов. — Многие воспоминатели отмечали его обостренное, чуть ли не болезненное чувство справедливости: сызмала он напускался на бабушку, когда та бранила крепостных, выходил из себя, когда вели кого-нибудь наказывать. А в Пятигорске, уже незадолго до смерти, он ненароком обидел жену мелкого чиновника. Оскорбился, естественно, и сам чиновник. Так Лермонтов таскался потом к ним с извинениями. В конце концов, эти люди полюбили его. А вот еще факт... После гибели Пушкина Лермонтов решил вызвать Дантеса на дуэль. Лучший друг поэта Алексей Столыпин, по прозвищу Монго, заметил, что у него, мол, «слишком раздражены нервы». Лермонтов набросился на Столыпина чуть не с кулаками и велел сию же минуту убираться вон, иначе он за себя не отвечает.

Соколов откашлялся и, открыв зашуршавший по-мышьиному конспект, продолжал:

— Другой его близкий друг, — уже, кстати, известный вам, ребяташки, по сообщению Эммы — князь Александр Васильчиков, свидетельствовал: «...в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные поклонники, о глубококомысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и бурной своей жизни. Он был шалуном в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтением, и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только пятнадцатилетнему школьному мальчику... Например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с криком и смехом бросался на блюдо, вонзал вилку

в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял нас без обеда... Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать. Но в разговоре между прочим сказал, что едет из России и везет с собой бочонок свежесолёных огурцов, большой редкости на Кавказе... Тогда Лермонтов предложил прийти на его квартиру, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию и намекнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение, и покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель Лермонтов скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощанья от неумолимого чтеца-стихотворца... Обедая каждый день в пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не падала при мытье посуды в горячую воду... Тут она разом расплзлась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невиновности прислуги и расплатился щедро за свою забаву...»

Неожиданно Соколов прервался и спросил:

— Не устали, ребяташки?

— Просим, Владимир Николаич! — грянули мы тридцатиголосо.

А трепач Кутилов даже вскочил, соврав:

— Я в восхищении!

«Ну, чего ты кричишь петушиным фальцетом?» — раздражился я.

Ну а он, он преспокойно уселся, приняв фальшиво развязную позу.

Учитель же поклонился на театральный манер — видимо, в это мгновение на него находил «рабочий стих». Соколов даже загорячился:

— А вот что доносил командованию генерал-лейтенант Галафеев: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы...»

«Где же можно полюбить человека больше, — толкнулось во мне самозванное воспоминание, — как не на войне, когда он способен разделить с тобою смерть и спасти тебя от смерти, погибнув сам...»

— За экспедицию в Большую Чечню, — продолжал тем временем Владимир Необходимович, — генерал Голицын представил Лермонтова к награде золотой саблей «За храбрость». «Я находился в непрерывном странствии, — писал в те дни Святославу Раевскому Лермонтов. — Одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское... Для меня горный воздух — бальзам: хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту...»

Владимир Необходимович бросил взгляд на часы и с досадой проговорил:

— Время вышло... Итак, ребяташки, отложим всякое попечение о Лермонтове в надежде на то, что завтрашний урок даст нам новую пищу для размышлений... Спасибо! Все свободны... Гореликова же я попрошу остаться еще на минуту...

### 3

На висках Соколова набухли вены — чувствовалось, что он очень устал. Не взглянув на меня, он нахлобучил свою широкополую шляпу и сказал:



- Выкладывай!
- Что выкладывать? — спросил я.
- Алексей, что-то ведь случилось...
- С чего вы взяли?

— Да с того, что математичка жалится... — вдруг пристально посмотрел на меня Соколов. — Говорит: ты рысь свою совсем не показываешь... Лапки сложил... Хвостик поджал... А ведь любимый ее ученик... Ну, что случилось?

— Живу вполжиться-вполбытъя... — почувствовал я в сердце совестливую боль. — Потому как тренер затесывает, ну, совершенно, затесывает... Рост, мол, для связующего не тот... Что я вообще в волейболе делаю, Фалалееву не понятно... Да, он не понимает меня, а я, по его словам, ни черта не понимаю его... На последних соревнованиях я даже на площадку из-за этого не вышел, не поиграл... Наверное, скоро вообще из сборной вылечу...

Соколов стянул шляпу и бросил ее на стол. Откашлялся, зачесал растопыренной пятерней волосы, в которых то ли рыбки кости белели, то ли седина, и проговорил:

- А в какие дни сборная тренируется?
- В выходные...
- Так, значит, завтра и послезавтра... Я приеду... Вник?
- Вник... В сто пятой...
- Что: в сто пятой? Говори яснее...
- Ну, там у меня треша... То есть тренировка...

Владимир Необходимович сгреб со стола шляпу:

- Помню эту школу на Комитетской... Старая такая...
- Я надел рюкзак и кивнул.

...Суббота летела, как маршрутка... Ну, а маршрутка, как... Словом, я проехал через фешенебельный прибрежный Волгоград, через Волгоград гостиниц, через коммерческий Волгоград, через Волгоград развлечений и, наконец, въехал в спальный район, с кучами набросанных один на другой домов. Через полчаса я был уже на улице Комитетской — в узеньком переулочке, тянувшемся параллельно одной из самых оживленных волгоградских магистралей. Четко и гулко раздавались мои шаги. Пар от дыхания прохожих смахивал... На что же он смахивал? Ах да, на дымки от множества пистолетных выстрелов... Как в одном из рассказов Конан Дойла... Наконец я оказался у школы. Школа № 105 — это почтенное плоскогрудое строение — не имела в своем облике ничего романтического. Когда я вошел, там уже были Листопад, Расщепкин, Слезкин, Кашеваров, Белов и Ермаков.

- А что, Фалалеева нет? — спросил я, ручкуясь с пацанами.

— В тренерской переодевается... — проговорил, натягивая наколенники, Жора Листопад. — Так что шевелись...

— Ну, не вопрос... — я присоседился к Листопаду на скамейку и стал вытряхивать из рюкзака кроссовки и форму.

- Слушай, Лех, еще мужик какой-то угрюмый приперся...
- В шляпе?
- Ты что, его знаешь? — встрепенулся Жора.

— Эй, вы!.. — послышался голос Фалалеева. — Чего там трете?

Анатолий Васильевич говорил спокойно-небрежным тоном, а сам переводил маленькие пестрые глазки с Листопада на меня. Сидели эти глазки так глубоко, что смотрели как будто из подворотни.

- А ну давайте в зал...

Фалалеев собирался еще что-то присовокупить, но осекся — на него надвинулась шляпа и закрыла длинной темно-лиловой тенью.

— Вам кого надо? — уставился на незнакомца Фалалеев, змеящимся движением поправляя свисток на желтом шнурке.

— Собственно вас, Анатолий Василич, и надо... Меня зовут Соколов...

— Ну, пойдете в учительскую... — услышал я напоследок. — Там не помешают...

И тут я глянул на Соколова. Он стоял перед тушистым Фалалеевым с отсутствующим выражением лица, но из-под опущенных век было видно, как блестят его глаза. Я знал этот блеск — ничего хорошего он не предвещал.

«Не хотел бы я оказаться на месте Фалалея... — трепыхнулась мысль в голове у меня. — На учење идешь — жмут подтяжки, домой пришел — дожидайся растяжки... Эх, Фалалей, Фалалей!»

...Минуло семнадцать, девятнадцать минут — и Фалалеева все еще не было. Жора Листопад, наш капитан, верховодил. Все разминались. Я тоже разминался, дожидаясь той самой растяжки. И вот наконец Фалалеев, «гадкий, жаленький», скрылся в тренерскую. Футболка на нем была или растянута, или порвана. Желтый шнурок болтался в одной руке, а свисток, свисток, боюсь, и предположить где... Анатолий Васильевич кликнул Жору, продержал у себя с полминуты, переделся и ушел. Все это было необычно даже для него. Мы, естественно, накинулись на Жору с вопросами, стали поджигать, но он и сам недоумевал.

— Что вам сказать? — отмахнулся Листопад. — Фалалей, как побитая собака, — поскулил и убрался... Мне и во сне не снилось, что он так кончит... Да, кстати, завтра трети не будет, пацаны... На этом все, собираем мячи!

«Стоит, как говорится, сделать зарубку в небесах... Он первый, кому удалось выбить Фалалея из колеи...» — я выхаживал эту мысль целое воскресенье. Чуть душевную аллергию не нажил. Еле дождался понедельника — так хотел свидеться с Соколовым. Я, конечно, спросил о Фалалееве, этом обиталище кровососущих насекомых, — ничего не мог поделаться с собой и испытывал к нему непреодолимое отвращение. Владимир Необходимович посверлил меня взглядом и сказал то, чего я и не ожидал вовсе:

— Повыкинь вздор из головы!.. Помнится, на следующей неделе у тебя отборочные соревнования, волейболист... Так не забудь пригласить одноклассников и меня на финал...

О, нет, я не забыл и позвал всех!

Я даже дерзнул позвать Эмму — «существо, в котором светилась вся моя надежда».

— А как же девушка, с которой бы ты не стал знакомить Печорина? — спросила она растерянно, и грудь ее колыхнулась.

— Нет никакой девушки... Так, для наглядности приплел... — все дочиста выложил я.

— Ну, тогда, — завершила Эмма, — приеду болеть...

Само собой, от этих слов ее я здорово расщастливился. И даже, помнится, потянулся к лирике: «Мир опять цветами оброс, у мира весенний вид... И вновь встает нерешенный вопрос — о женщинах и о любви...»

Но здесь я должен закончить «нарядную песню» и снова удариться в повествование. Итак, к рассказу.

Обычно «отбиралась» мы в спортзале колледжа на Спартановке... Или на Грамши, как заглазно именовалась эта весьма убогая площадка. А впрочем, областной Федерации волейбола она по бедности и досталась. И именно здесь наша сборная пробивалась в финал все последние шесть лет. В общем, как ни крути, на Грамши нам фартило. Этот же финал был для нас последним: в грядущем мае мы навсегда вылетали из школы олимпийского резерва. Шестнадцатилетние резервисты! «Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia». Ну, то есть: «Рукоплещите, граждане, друзья, комедия окончена». Нет, конечно, блазили, как сказал бы Соколов, еще и зональные сорев-

нования в ноябре, а также полуфинал и финал Первенства России в январе и в марте. Только никто сейчас о них не помышлял. Мы бинтовались, поправляли наколенники, словом, готовились к замесу с волжанами. Да, команду Волжского — много забивающую — голыми руками не возьмешь. Но лично мне было плевать. Ведь я был в игре, а не на скамейке запасных. Я был Homo ludens, или Человек играющий... И да, я помнил, что обязан этим исключительно Соколову.

Когда Владимир Необходимович вошел в зал, лицо нашего Фалалеева сделалось понурым, весь он как-то обмяк, а в его осанке появилось даже что-то просительное. Губы же стали желтыми, как от пальмового масла. Да, странного хватало. Например, поболеть за меня — такого я и не припоминаю — приехал почти весь класс. Впрочем, я видел одну лишь Эмму, молодую, как Беатриче. Да и то недолго. Началась разминка, все закрутилось. И для меня, надо сказать, неудачно. Саня Кашеваров саданул мне мячом по пальцу и выбил его. Я осатанел от боли. Саня, хлопая мохнатыми ресницами, запросил прощения. Фалалеев же растерялся — менять связующего за считанные минуты до финала было бы утопией. Я поймал на себе взгляд Соколова и с трудом узнал его в этот момент. Он мрачнел, брови вытягивались в две жесткие черные линии, из-под них сталисто блестели глаза. Голова его опускалась, плечи сутулились, губы плотно сжимались, на мускулистой шее вздулись вены. Вдруг Соколов вспорхнул, куда-то стремительно слетал и вот уже тряс предо мною баллончиком с заморозкой:

— Леш, это уймет боль минут на сорок... Играть сможешь, но... — Взгляд его привязывал накрепко, чуть ли не корабельным канатом.

«Как уцелевший воин на оконченном побоище...»

— Брызгайте! — отогнал я несвоевременное воспоминание и протянул руку Владимиру Необходимовичу.

...Примерно через час Фалалеев жал мне в раздевалке эту самую руку и, благосклонствуя, что-то задвигал о «нашей общей победе». А еще о том, что ему до зарезу хочется сфотографироваться со мною на память... Но я нюхом чуял: хитроизмышленного Фалалеева занимает совсем другое. И, конечно, не ошибся.

— Алексей, а твой дядя... — нацелился на меня подозрительным взглядом тренер. — Ну, этот в шляпе... Он что, за убийство сидел?

— Дядя... — быстро сообразил я, о каком это еще дяде идет речь. — Э-э, мамин брат, он действительно кого-то прикончил... Только я точно не скажу кого... А вообще, он когда разозлится, так просто не владеет собой... Вы же знаете, Анатолий Василич, что отец бросил нас с мамой...

Я это нарочно брякнул, знал ведь, что тренер ни сном ни духом.

— У отца моего теперь другая чудесная семья... — продолжал я повествовать. — Так вот, дядя однажды ему чуть голову не размозжил... М-да, я и сам иногда боюсь дяди... Такой бешеный он бывает...

Чем дальше я повествовал, тем больше оказывался «на дружеской ноге» с Иваном Александровичем Хлестаковым:

— Верьте, Анатолий Василич, отцу моему и сейчас грозит опасность остаться калеккой или получить нож в спину... О-хо-хо...

Лицо Фалалеева, и без того бледное, стало как набеленное, а в глазах промелькнул маленький пестрый зверек. Видимо, страх... Не исключаю, что моему дражайшему тренеру привиделась ночь, обгабившаяся кровью. Его собственной кровью. А на стене плохо освещенного спортзала возникла надпись с бурыми подтеками «Rache» — по-немецки «месть».

Угас же этот день превосходнейшим образом!

Мы с Фалалеевым, как говаривала одна детская писательница, пришли к взаимопониманию: мы согласились друг друга не понимать.

## 4

— Половина декабря, прощевай!

— Половина урока, адью!

Жаль, отсутствующий Соколов не слышит, как бегло мы уже гутарим по-французски, «подбитые ветерком». И вдруг он появился, прошествовал к своему столу и, не здороваясь, опустился в кресло — мрачный, шляпа низко надвинута. Помолчал, оттолкнул ее со лба и наконец проговорил:

— Дурной тон ведет, как известно, к преступлению... Но об этом, ребятушки, мы потолкуем на классном часе... Да, да, забудьте про дом и пропитание... Все остаются, никто не разбредается...

Прозвучало это несколько угрожающе, но Владимир Необходимович, по своему обыкновению, не стал ничего объяснять. Пока мы растерянно переглядывались, он бросил шляпу на стол, снял, покашливая, браслет с часами и положил его пред собой.

— Оставшееся время посвятим Печорину, — сказал Соколов. — Итак, кто еще, кроме Гореликова, готов подружиться с Григорием Александровичем?.. Ага, вижу, что Кан, Бессараб и Судейкин... Ну все, опускайте длани!.. Кутилов, это и тебя касается... Что, не желаешь опускать?

Прорезался смех.

Владимир Необходимович поморщился:

— Ну, тогда ответь, Илюша, это чье откровение: «...я дочитал до конца Героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде...» Ответишь — поставлю «пятерку».

Илья Кутилов, высокий, полный и торжественно благопристойный, неуверенно пожал плечами:

— Вот чего не знаю, того не знаю... — Глаза его суетились под белесыми бровями.

Смех развалился и затих.

— А кто знает? — оглядывая нас сквозь прищуренные веки, проговорил Владимир Необходимович. — Кто ведает?

— Я.

— Эмма? Ну, и...

— Не ошибусь, если скажу... Николай Первый...

— Совершенно верно! — просиял Соколов и на малое время показал барашком завитый почерк в конспекте. — Это его откровение... Послушайте, ребятушки, что он писал... Гм, хотя бы вот это... «Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора... Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Несомненно, кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако капитан появляется в этом сочине-

нии, как надежда, так и не осуществившаяся, и господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем навредить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности — чтобы не вызывать отвращения. Счастливый путь, г. Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать...»

И тут сорванный и больной голос Соколова разросся:

— Оскерко, Столыпина, а ну живо сюда смартфоны!

Надо сказать, подействовало. С невероятной прямыми, словно скамейки, спинами Женя Оскерко и Саша Столыпина вскочили и, опасливо поглядывая на Владимира Небоходимовича, двинулись к его столу. Впрочем, полон или иное бедство им не грозили. Соколов лишь принял трофеи, и вострухи, как он величал этих двоих с абрикосовыми волосами, убрались восвояси подобру-поздорову.

— Похвально, конечно, вострухи, что вы опять транслируете наш урок в Ютьюбе... Но на оценку это не тянет... Ну так что... Будем отвечать?

— Будем, — захлебнулась воздухом Саша Столыпина.

— Тогда вникайте! — скривил рот Соколов, рассматривая белый след от часового браслета. — Из письма Лермонтова к Святославу Раевскому известно, что направление маршрута его по Кавказу таково: от Кизляра до Тамани, а не наоборот, как до сих пор считают в лермонтоведении. Вопрос: чем все-таки обусловлены внесистемные на первый взгляд передвижения Лермонтова, сроки его появления в тех или иных местах, включая два посещения имения его родственника Хастатова в Шелкозаводском? Ну же, вострухи!

Оскерко вперилась легкодумным взглядом в Столыпину, а Столыпина в Вилкас. И это не укрылось от Владимира Небоходимовича, помедлив, он проговорил:

— Значит, не вникли... Может, Вилкас ответит?

— Предположу следующее, — будто пробуя каждое слово на вес, начала Эмма. — Это обусловлено нежеланием опального Лермонтова встречаться с государем, совершавшим длительную поездку по Кавказу.

— Ну что ж, «пятерка» уходит к Вилкас! Ибо пути Николая Первого и автора «Героя нашего времени» действительно не пересеклись по указанной причине. Они разошлись и в Геленджике, и в Тифлисе, и в Ставрополе.

Соколов перестал кривить рот и улыбнулся.

— Видите ли, в чем дело, ребятушки... — продолжил Владимир Небоходимович, согнав вдруг с лица улыбку. — Лермонтов ведь не встретился и ни с одним из декабристов, переведенных по приказу царя из Сибири на Кавказ. Он намеренно избегал и этих встреч. А посему излюбленная тема лермонтоведов должна быть закрыта навсегда... Гм, а вот кто скажет, применительно к Лермонтову, естественно: чем обогатил Кавказ русскую литературу? Созерцаю, Столыпина, твою длань... Ну, валяй!

— Владимир Николаич, — устала на учителя бойкие зеленые глаза Столыпина, — пребывание поэта в Пятигорске и его поездки по старой Военно-Грузинской дороге в обоих направлениях обогатили русскую литературу такими повестями, как «Княжна Мери», «Бэла», «Максим Максимыч», и поэтическими шедеврами «Демон» и «Мцыри», написанными им после возвращения в Петербург. Единственным же крупным кавказским произведением этого периода явилась «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», которую, по признанию самого Лермонтова, он написал в первые дни пребывания в Ставрополе...

— Ну, сподобилась, Столыпина! Высший балл...

— А я... ну, то есть... Могу ли ответить я?

— Помилосердствуй, Оскерко! — нервно покосился на браслет с часами Владимир Необходимович. — Мы закругляемся. А завтра, ну завтра милости просим!

«Отсизивалась, и на тебе...», — откололось вдруг у меня.

Женя Оскерко послала учителю взгляд и тотчас, как полагается, угасила его. Пробормотала: «Мерси!»

— Тебе незачем благодарить меня, — ответил Соколов, покашливая и застегивая браслет. — А мне незачем стоять перед тобой в душе на коленях...

Вдруг он выбросил вверх правую руку со шляпой:

— Я — историк, — заметил, надо сказать, между прочим, булгаковский Воланд. — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история...

— А это вы к чему? — поинтересовался румяногубый и пышнощекий Кутилов. — Что за дела?

— Да к тому, Илюша... — проговорил Владимир Необходимович, отправляя шляпу на затылок и как-то очень уж пронзительно вглядываясь и в Кутилова, и в каждого из нас. — К тому, что двенадцать человек, по Булгакову же, кстати, осуществляли следствие, собирая, как на спицу, окаянные петли этого сложного дела... Э-э, хотя нет, «сложного» возьмем в кавычки...

— Так это же классный час начинается... — догадался Кутилов. — Да еще и с прелюдии!

## 5

— Прелюдия прелюдией, — вернул Кутилову Владимир Необходимович, — но зачем же соляным столпом торчать, а?

— Ну, так я сяду?

— Садись и свое милое простодушие, которое ты черт знает откуда берешь, не используй себе же во вред... Иначе отправишься за родителями... Сей пункт разъяснений не требует?

— Не требует, — заблагорассудил Кутилов.

— И да, — продолжал раскидывать Соколов, — пребывать «в мечтательном царстве известного оттенка» я никому не советую... Э-э, впрочем, предупредю, что не желал бы вам таски от родителей... А теперь к делу! Как я уже ранее обмолвился, «двенадцать человек осуществляли следствие» по вашему, други ситные, делу. Наверное известно, что вы воскуривали в классе запретный фимиам. Опять же наверное известно, что один из вас его и принес. Сейчас я жду, что вы, точно из кармана, выложите имена тех, кто в этом не участвовал — сии агнцы не должны подвергаться гонениям. Пока это все...

Я поднял руку и, чувствуя, что нестерпимо возжелал киндина — пирожного из яичного желтка, кокосового ореха и сахара, сказал:

— Я участвовал.

— Участвовала, — подняла руку и Эмма Вилкас.

— То-о-же, — заорганил Судейкин, и его тотчас усилили смуглощекие Кан с Бессарабом. Они подмигнули друг другу.

— И я, — зарделась вдруг Помазан.

— Ну как тебя-то, Марин, угораздило? — подивился Соколов. — Ладно, Кан, Бессараб, Судейкин... Но чтоб ты? Не постигаю...

И тут нашу тихоню Помазан разобрало:

— А что, я особенная? Не могу сама себе напроговорить?

— Теперь вижу, что можешь, — вздохнул учитель. — Кутилов, ну а ты, что же топоришься: воскуривал?

— Никак нет, Владимир Николаич... Не воскуривал...

— Молодец, хороший мальчик!.. Э-э, ну кто еще готов признаться? Скороденок? Лена? Да что ж такое?

Лена Скороденок — самая наша слабонервная особа, — вздыхая, уже присваталась руками к лицу.

— Поплачь, ну ничего...

Скороденок поглядела глазами слезливо-мокрыми.

На обтянутых кожей скулах Соколова чахло зацвел румянец.

— Как это там? Ах, да... — раскрылся у него рот круглой дырой. — А я-то думал, что все еще не отстал от поколения и понимаю современную молодежь. Да, старье наше старится чуть ли не раньше, чем созреет... Вот уж верно подмечено...

Оглядывая нас, Владимир Необходимович дышал тяжело и часто покашливал:

— И впрямь... В наш век и впрямь многие попались впросак таким образом... именно тем, что родились в наше время...

Соколов замолчал, словно обронил мысль. Прошел от стола до двери, глядя искалочно под ноги, повернулся и, сняв шляпу, сказал:

— Вострухи, вспомните, что молчать хорошо, безопасно и красиво.

— Красиво? — встрепенулась Столыпина.

— Конечно... Молчание, как известно, всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего.

Краска сбежала с лица Столыпиной, и глаза обессмыслились. Оскерко тоже выглядела не лучшим образом: как-то сразу осунулась и увяла.

Вдруг Владимир Необходимович погасил свой острый взор:

— Я буду рассказывать, а вы меня, вострухи, поправите, коли собьюсь... Итак, вчера, когда не явился вальсер, чтобы готовить класс к кадетскому балу, ты, Столыпина, дабы как-то скоротать время, любезно предложила Оскерко вейп... Ну а где Оскерко, там и другие... Там и больной астмой Адашкин... Не так ли?

— Так.

— Громче, Столыпина!

— Да, так... Не отдавшись танцу, мы отдались вейпу...

— С вострухами все, в общем-то, ясно... — помрачнел Соколов. — У них заблудилась совесть... А вот что у тебя, Коля-Николай, заблудилось?.. Наверное, разум? А если бы астма тебя усахарила? Зачем продовольствовал вейп? Объяснишь?

Адашкин ничего, естественно, объяснить не мог, только сутулился.

— Ты о родителях-то думал?

— Не думал.

— Видимо, никто не думал... Ни ты, Коля, ни наш прославленный волейболист Гореликов, ни отличница Вилкас, ну вот никто...

Владимир Необходимович потер виски, видимо вспоминая, и добавил:

— Полюбуйтесь-ка, лучших учеников у меня отвела, увела, с ума свела глупость...

И снова мне возжелалось самых лакомых блюд: мокеки из креветок в банановых листьях, косады, ананаса, земляных орехов в сахаре, фрикаделек из трески и, конечно, мунгусы из белой кукурузы.

Но Кутилов, зараза, не дал помечтать о пище богов.

— Что же будет? — подал голосище он.

— Тебе, медно-гудящий Кутилов, ничего, как, впрочем, и Толбухиной с Яриловец, — обходительно проговорил Владимир Необходимович. — Вы же не участвовали в сиим безобразии... А вот остальным, ну остальным предстоит экзекуция... Причем уже завтра... Так что заносите в дневники: завтра, в восемнадцать двадцать общий сбор... То бишь собрание...

Соколов нахлобучил шляпу, выждал и ударил словами:

— Запомните, это важно: все экзекуемые являются с родителями... Да, вот еще что. Пожалует сам господин директор... Э-э, нашей в целом очень даже образцовой школы... Я бы мог вас, други ситные, утешить самоваром. Как говаривал Достоевский, самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастьях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических... Полагаю, вы все бы выкушали по две чашечки, конечно после чрезвычайных просьб и насилия... Только вот ничего этого от меня не ждите, собирайтесь и дуйте домой... Дуйте к своим самоварам!

...И вот неудержимо навалилось завтра.

Как и было предначертано, «катастрофы и несчастья, особенно ужасные, внезапные и эксцентрические» обрушились после двадцати минут седьмого. Солнце садилось, и все в наших головах переворачивалось кверху ногами. Не исключено, что все мы, экзекуемые, в тот миг походили на собственные отражения в пресловутом самоваре — были такие же красные, как кирпичи или снегири.

Явление же господина директора было обставлено соответствующим образом: Юрий Юрьевич Филипский хранил многозначительное молчание, оглядывая нас, убогих. Вещала одна только сопровождавшая его завуч Галина Петровна Спивакова. В основном это было моралите.

Надо бы здесь расчеркнуться о Филипском, уделить несколько особо времени, поскольку другого случая может и не представиться. Словом, господин директор смахивал на персидского котика: острые розовенькие ушки и ленивые голубенькие глазки. Бровки же имел он белесенькие, а носик... Носик, как и заведено у персидских котиков, немного приплюснутенький. В общем, изобразить Филипского иначе вряд ли получится, черт бы его побрал!

Мимоходом скажу, что слушал он Спивакову нежно, как родную мать. Из нее же «как бы выглядывал пропагандист». Ну а мы, мы и друг на дружку боялись взглянуть. Тогда-то я и поднял из памяти одну французскую фразу: «La calomnie... il en reste toujours quelque chose...» Переводилась она, примерно, так: «Клевета... от нее всегда что-нибудь да остается». Я к тому это вспомнил, что большинство из определений, данных нам Спиваковой, настолько же соответствовали действительности, насколько не соответствовали ей. А кроме того, звучали чуждо, жестоко-ускользающе. И Владимир Необходимович понял это, по-моему, раньше всех.

Защита Соколова, а это как раз и была защита, и удивила, и озадачила. Лично я почувствовал себя «щуплым выпадшем из гнезда Феникса».

— Юрий Юрьич, Галина Петровна, досточтимые родители! — заговорил учитель. — Я, как и вы, возмущен духом. К сожалению, «маклер судьбы» припас именно этот вариант: «благороднокрылыми» оказались только Кутилов, Толбухина и Яриловец, остальные же — «одного безумия люди». Но давайте зададимся вопросом: каково им всем? По-моему, они боятся... Боятся все — даже те, кому нечего бояться. Исключение составляют лишь вострухи — по своему легкомыслию... А впрочем, нет, боятся и Столыпина с Оскерко. Чувствую, у них «кожа на голове пухнет...» Итак, все боятся, и все смешаны...

Я покосился на Галину Петровну, поправлявшую очки в черепаховой оправе, и тут мелькнуло-вспомнилось: «Она утверждала, что уже более тридцати лет беременна Апокалипсисом...»

Соколова уже явно знобило, но он продолжал говорить:

— Вот случился скандал... А что он такое? Скандалом Мандельштам называл беса, открытого русской прозой или самой русской жизнью... Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова... Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он — исчадие ее...



— Выходит, литература виновата? — нарушил свое многозначительное молчание Филипский, а Галина Петровна неодобрительно покачала головой.

— Да, господин директор, — катился ежом Владимир Необходимович, — виновата... Как, собственно, виноваты и я, и вы, и родители...

— А вот меня попрошу не виноватить! — сдержанно и вполне прилично зажести- кулировал Филипский, пальчики розово-пухлые, холеные замелькали пред нашими глазами.

— Слушаюсь, господин директор! — уступил Соколов как-то сразу и как-то уж подозрительно охотно.

Но это-то и смягчило Филипского:

— Вот и ладненько! А теперь — выводы...

— Выводы? Я так скажу... — проговорил Соколов, словно тайновидящий. — Создалось пренеприятное «шахматное» положение...

— Что же вы, Владимир Николаич, под этим подразумеваете, а? — разлакомился вдруг директор и пожевал плотоядными губками.

И мне вдруг представилось, что он, директор, сейчас же потребует принести из буфета для всех нас ящики с прохладным лимонадом, тархуном и гуараной. Впрочем, тотчас благодаря Соколову все и распредставилось.

— Я подразумеваю под этим, как вы, Юрий Юрьич, точно изволили выразиться, — продолжал с большим жаром наш учитель, — не что иное, как цугцванг... То есть положение, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции... Поясню... Если мы предадим огласке факт курения вейпа, пострадают и дети, и школа... Репутационные издержки, что называется...

«Захочешь заплакать, — ковырнуло меня, — но передумаешь... А все почему? А потому, что „несчастье хоть и живет на свете, да нечаянно, а счастье должно жить постоянно...“ Гм, и скучно, и жутко...»

Соколов тяжело глотнул:

— Поэтому именно вы, Юрий Юрьич, и должны устроить виновных своей все- сильной властью — пусть дряют коридоры, пусть расчищают дорожки от снега... Родители же пусть больше разговаривают с детьми и пусть не отгораживают их ширмами, как приглашенных на казнь... Ну а я как учитель литературы берусь лечить скандал самой литературой... Предлагаю создать студию и сыграть для начала «Клопа».

— Отчего же «Клопа»? — прорезалась Спивакова, уголки губ ее капризно круглились.

— Да оттого, Галина Петровна, что «в клопе, хоть он и паразит, течет человеческая кровь».

## 6

«Видимо, система бредоизирует все... Буквально все... А иначе как объяснить устроенный нам разнос?»

За объяснением обратился к Гоголю.

На следующий день пришел в класс не столько прозревшим, сколько заблудшим. Владимир Необходимович, естественно, это тут же заметил. И потому сказал: «Ну, валяй, Алеша!.. А то не будет успокоения в будущем...»

Вот и захотелось мне выкрасть успокоение из этого самого будущего.

— Давай, что ты хотел прочесть... — подбадривал Соколов. — Читай же!

Руками я поначалу совсем не владал, но потом пошло лучше, хотя чуть и не выр- нил книжку.

— «Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, — забубнил я наконец, водя паль- цем по гоголевским строчкам, — когда вообразил себе необыкновенную нежность и не- прочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается.

Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромым бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне...»

Соколов дослушал мое чтение и, приговорив долгую минуту, спросил:

— Все всё поняли?

Все сказали, что поняли всё.

— Ну что, Алеша, полегчало аль нет? — поворотился ко мне вдруг Владимир Необходимович.

— Полегчало, только хочется уже, как говорится, пасть волку разорвать либо яму выкопать в глубину до земного жара...

Во мне вдруг поднялось непреодолимое раздражение:

— Можно подумать, что мы готовили ритуальное убийство в честь Янсан, повелительницы мертвецов, богини войны... От крика которой одни немеют, а у других разрываются сердца...

— Это хорошо, что ты способен так чувствовать и мучиться, — сказал всепонимающе Владимир Необходимович. — И я отлично хорошо себе представляю, почему в «ближайшие конфиденты» выбран именно Гоголь... Гм, в его произведениях торжествуют противоположности: страшное оказывается смешным, смешное — страшным. Впрочем, может, у тебя другое толкование?

— Другое? Право, не задумывался... Но теперь, когда вы сказали об этом, думаю, что такое и есть...

— Ребятюшки, — возвысил голос учитель, — вчерашнее сходбище войдет, что называется, в анекдот, в скандал... Греческое слово «skandalon» — буквально «крючок в западне, к которому прикрепляется приманка» — точнее всего характеризует то, что случилось. Весь этот бред... Как будто параноик складывал цифры на номерном знаке проезжающей машины и получил нечетное число — неблагоприятный знак...

— Значит, вы нас оправдываете, Владимир Николаич?

— Даже будь я высоким судом, то я не оправдывал бы вас, Судейкин... Никого из вас не оправдывал бы...

— Но отчего же?

— Дабы не вызывать, по Эйзенштейну, симпатию к герою... То бишь к вам... Э-э, в самом себе, конечно... Поскольку желая вызвать симпатию к герою, я бы «окружал его котятками, безусловно, пользующимися всеобщей симпатией...»

— Мудрено, но мы поняли, — кивнул рыжекудрый Судейкин. — Только про неблагоприятный знак не ясно... При чем тут знак?

— Каюсь, Аркадий, мысленно отстранился... Вспомнил Жана Полана... Но как было не вспомнить? Старые художники начинали со смысла, говорил Полан, и подыскивали ему знаки... Новые начинают со знаков, к которым только и остается, что подобрать смысл... Применительно же к нашему случаю... Э-э, вчерашнему сходбищу... Только и остается, что...

— Подобрать смысл, — подхватил Судейкин.

— И наградить им окружающих... — ввернул неожиданно Кутилов.

Владимир Необходимович уперся в него глазами, в один миг всего ощупал:

— Ну да, Илюш, как тот идиот, что, кривя соболезненно рот, предлагает в награду винограду.

...Некоторое время я уже не слушал, о чем говорилось, а, словно авгур, взирал на мое божество — Эмму Вилкас. Сам себе я казался совершенно бесцветным, Эмма же,

напротив, васильковела. «Никакая звезда не сравнится с нею...» — поэтизировал я, представляя в ночных бархатах небо, где только она и сияла. Конечно, смотреть на Эмму искус, испытание. Но отказаться было не по силам. Лучше уж совсем сгнубуть, чем отказаться. А поскольку этого пока не требовалось, стал я примечать: Эмма, видимо, преднамеренно роняла ручку, чтобы привлечь внимание. Наконец и вовсе швырнула ее в Кутилова, мол, замолчи. Надоели эти вчерашние дрожжи. И Илюша замолчал, осекшись. Она же, ни к кому конкретно не обращаясь, навалилась:

— У нас урок или что?

И, не встречаясь с колким взглядом Соколова, докрутила:

— Если все-таки урок, то хотелось бы знать: у кого из писателей скандал выполнял важные художественные задачи? И еще одно... Вы все то ли не понимаете, то ли делаете вид, что не понимаете... Вас послушать, так выходит, что мир после вчерашнего стал иным...

Судейкин было на нее зашикал, но тотчас же и притих. Словно чего испугался. Мне даже представилось, чего именно: налетевших бешеных теней врагов, распаленных ненавистью.

— В общем-то, Эмма права, — сказал Соколов так, словно признавая некую ошибку. — Разве что-то изменилось после вчерашнего? Разве могло измениться? Нет, нет и нет... «Наш мир — солидная фирма...» А мы, ребяташки... Давайте-ка мы и впрямь взглянем на тему скандала в литературе... Скандал — это ведь своего рода щит для неудачника, которым он, кстати, и загораживается... Взять того же Фому Опискина из повести «Село Степанчиково и его обитатели», по сути открывающей послекаторжный период в творчестве Достоевского. Надо заметить, сей Опискин тот еще типчик-дрипчик!.. И да, именно его создатель Достоевский поднял в творчестве тему скандала на необычайную художественную высоту. Скандал как бы запрограммирован во всем его великом Пятикнижии. И при этом таит в себе громадные возможности, что подтверждают не только произведения самого Федора Михайловича. Назову хотя бы «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова, «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона...

— Владимир Николаич, — докрутила еще Вилкас, — а почему Толстого не называете?

— Толстого, Эмма, я не называю по той лишь причине, что его герой не только уверен в полной правоте своего поступка, но и верит в Бога.

Учитель испытующе посмотрел на Вилкас и известительно продолжал:

— Таковы и Пьер, и Андрей, и Платон Каратаев, и Кутузов... Они никогда не испытывают ни недругов, ни общество... Герой Толстого предпочитает убийство возможности мучить другого, и уж тем более не извлекает из мучительства удовольствия... Герой Достоевского, напротив, удовлетворится... А почему? А потому, что за редким исключением — Сонечка Мармеладова и старец Зосима — не верует в Бога. Да, да, герой Достоевского веры как раз и лишен. Это — не цельный человек. Хотя в нем, конечно, есть наивность и нетронутость веры ребенка... Именно поэтому такой герой должен постоянно утверждать собственное «я» и духовно питаться за счет другого... Читай — скандалить...

Владимир Небоходимович тяжело, с хрипом, закашлял.

— Какая все-таки у Достоевского жестокость во всем! — решительно проговорила вдруг Эмма Вилкас, и я почувствовал, что решимость эта ей слишком дорого стоила. — Ну, вот во всем...

— Потому что жестокость... — заторопился, откашливаясь, видимо, тоже нечто подобное почувствовавший Соколов. — Per tutto mondo e in altri siti... Во всем мире и в других местах... Но поверь, дорогая Эмма, это именно он, Достоевский, и желал, «чтобы мир был самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище».

И тут словно гайка соскочила на полном ходу:

— Нет, не поверю... Он порченый, этот ваш Достоевский... Порченый и дерзосердый...

Не умея никогда ничего предугадать, я вдруг предугадал, что сейчас оживут слезы. И они действительно ожили на глазах у Эммы. Она выскочила из-за парты и побежала. Только и мелькнул белый воротничок ее кадетской рубашки, точно след мела на черной доске. Оскерко со Столыпиной дернулись было за нею, но Владимир Необходимович их тотчас же остановил: «Не трогать, не кантовать...»

Жизнь зато кантовала нас.

Знаете, как бывает с большой назойливой мухой?

Ну, в общем, вы знаете...

— Что это у вас, господин Соколов, ученица вся в слезах? — зажужжала объявившаяся вдруг Спивакова. Да, да, было у нее такое вот свойство объявляться неожиданно-негаданно.

— Ничего, поплачет отрадными слезами... — и бровью не повел Владимир Необходимович. — А в другой раз не будет сдуру ресницы себе подкручивать... Ну или что вы там с ними делаете?

— Ресницы? — опешила Галина Петровна. — Какие ресницы?

— Ваши, красивые, — подпустил Соколов.

Спивакова аж замаковела — ну сила слова!

— Так ей ресничка в глазик угодила? Да?

Взгляд у Соколова был выдающийся.

«Глянул на эту женщину, — ушибло меня вдруг воспоминание, — как на всю федеративную республику...»

— Боже мой, Владимир Николаич! Ну, не гневайтесь... Просто, знаете ли, подумалось...

— Не осуждаю и тем более не гневаюсь, — сделал понимающее лицо Соколов, — такая у вас, завучей, работа...

— Я вам так признательна! Так признательна...

— Ну, что вы, добрейшая Галина Петровна, не беспокойтесь... И будьте самими сабами!..

Но добрейшая уже и не беспокоилась, и была, и что-то там жужжала себе под нос.

«Это что еще такое? — ковырнуло меня, когда довольная-предовольная завуч покинула наконец класс. — Спивакова неровно дышит к Владимиру Необходимовичу? А он этим, не совестясь, пользуется?.. Во открытие!..»

Надо сказать, что открытия так и сыпались на меня в этот високосный день: например, у средней Эмминой сестры Киры под левым глазом зацвела пунцовая астра, сама же Эмма упорно желала сохранить некую тайну. В общем, кое-что об этом мне стало известно. Готов побожиться, что не подслушивал, просто так вышло. После уроков я возился в пустой и полутемной раздевалке со своим шкафчиком, у которого задал замок, и тут заявили Соколов с Вилкас. Он говорил тихо. Она же была все еще явно не в себе. Ну, то есть с «больной кровью». Оттого чуть ли не кричала. Не замеченный ими, я все и услышал:

— Эмма, так продолжаться не может... Вникла?

— Но я не хочу, чтобы вы вмешивались.

— Называй это как хочешь, только...

— Что только? Заявите на него?

— Нужно решиться, Эмма... Иначе добром это не кончится...

— Не на что мне решаться... Оставим, Владимир Николаич! Говорю же, я ничего не хочу... Ничего...

— Эмма!

Она отвернулась, видимо, заплавав. Она так задрожала, что «во мне растерзалось милое сердце». Издав то ли крик, то ли стон, Эмма мелькнула мимо, как быстрая птица. В раздевалке остались только Соколов и я, не видимый им. Я глядел на него. Он же, растерянный, глядел вослед ей.

...В удивленной душе моей не находилось ответа на вопрос, что я должен обо всем этом думать... Впрочем, в вопросе заключался весь мой ответ. А другого в этот день и не могло заключаться. Да такой уж это был високосный день!.. *Dies irae, dies illa!*.. День гнева, день оный!

## 7

Свеча слезилась воском, как обиженная.

На каменной стене узилища вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и гривастой, другой маленькой и круглой.

— Аббат, что вы называете Вульгатой? — спросил тихо гривастый.

— Да то же, что и святой Иероним называл — ну, его собственный перевод Библии, — ответил так же тихо круглоголовый.

— На латыни?

— Разумеется... Ведь только он принят нашей католической церковью... Эдмон, да что с тобой такое?

— Тсс!

— *Dio cane! Siamo fututi!*.. Это дьявол! Мы пропали!.. Это он, он всегда прячется, *maledetto!*.. Проклятый!

— Да помолчите же, аббат! Тсс!

Гривастый долго прислушивался, наконец сказал:

— Бранятся.

— Кто бранится? — снова забеспокоился старик.

— Стражники... Пожалуй, мне следует вернуться к себе...

— Эдмон, ты еще будешь сегодня?

— Да, хотелось бы повидаться... Поговорить...

Старый аббат Фариа посмотрел во мрак, кружившийся красноватыми хлопьями, и тяжело вздохнул:

— Обняться душами, понимаю... И буду рад... Знаешь, я должен тебе кое-что рассказать...

— Это касается нашего побега? — гривастый вдруг приостановился у разобранной каменной кладки.

— Нет, Эдмон, не совсем... Но это именно то, что позволит нам ни в чем не нуждаться на свободе... Сии сокровища...

— Ах, сокровища!

— Нет-нет, милый, не перебивай старика... Все в замке Иф считают меня безумным. Только я не безумен и о сокровищах знаю наверное.

— Вы знаете наверное?

— Говорю же, Эдмон... Сии сокровища... Э-э, на острове Монте-Кристо... О том, что они там, я открыл, служа библиотекарем у потомка кардинала Спада... Так вот, кардинал спрятал их от алчного папы Александра Шестого и его не менее алчного сына Чезаре Борджи...

Комната тонула в пепельной мгле.

Я проснулся, сел на кровати и, оглядев свои голые ноги, стал въезжать в явь:

Если сов он слышал в полночь —  
Вой и хохот в чаще леса, —  
Он, дрожа, кричал: «Кто это?»

«И зачем кричат... — корябнуло вдруг. — И зачем говорят, будто на дне каждого сна лежит Бог...»

Темнота прижухла, словно задумалась над ответом.

Удостоверившись, что нахожусь у себя, а не в узилище замка Иф, я снова распостелился. И пока погружался в сон, шептал: «Деньги хоть не Бог, а все же пол-Бога — великое искушение...» Наутро, как я ни пыжился, почти ничего из странного моего сна не помнил. Правда, всплывали имена: Эдмон, Фариа и Эмма.

«Иноземная, барабанная музыка имен была превосходна...»

— Но почему Эмма?

«Почему? — соображал я. — Видимо, сон соединился с явью, а явь...»

— Может, позвонить Эмме?.. Сказать, что заметил... Но только что же я заметил?

«Иной весь раскидался, самого себя перестал замечать...»

— А я молодец, значит, не перестал...

«Э-э, все это бред и в порядке бреда... Если уж она Владимира Необходимовича отринула... Так меня и подавно не захочет слушать...»

— Или позвонить? А впрочем, есть неотложное дело...

Так и не позвонил.

Совершенно непонятным было то обстоятельство, что я не позволил жить себе по велению сердца, а нашел какое-то неотложное дело. В общем, мысль эта гвоздила меня все воскресенье. Но и понедельник не воскресил — Эмма не пришла в школу. Ладони у меня ныли, будто пронзенные чем-то острым. Мать сказала после, что это все чертovy нервы. Я не спорил. Она ведь доктор, ей виднее.

Ну а в то утро я обыскался Владимира Необходимовича.

Да, чтобы засыпать его вопросами, броситься на него, как голодный на хлеб. Очень уж это вычитанное у Достоевского сравнение мне казалось тогда невероятно подходящим. «Как голодный на хлеб», — твердил я мысленно все утро. Впрочем, напрасно. Соколов тоже не появился в школе.

Что-то сосало мое сердце!

На большой перемене, растревоженный, я попробовал найти сестер Вилкас, но не нашел ни десятиклассницы Киры, ни одиннадцатиклассницы Инги. Никто не знал, где они. После уроков я отправился к ним домой. Звонил, колотил в дверь. Все впустую.

И оттого в сердце — вакханалия.

И в мозгу: «Гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть, и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть...»

— Значит, бежать ... — Я закинул рюкзак на плечи и заторопился незнамо куда.

...Фонари светились вечером, мерца.

Улица сверкала, точно отполированная, задувал свежак.

Дома по обе стороны улицы, старательно торопящиеся прохожие — все это нагнало на меня еще большую тоску.

«Бог дает орехи тому, — припомнилось вдруг, — у кого нет зубов...»

И только это припомнилось, как я встретил мать.

— Алеша!

— Ты, мам? А ты откуда?

- С работы, конечно. Первая смена... Забыл, что ли?  
Я молчал, сжав зубы.  
Она подошла и тронула меня за плечо:  
— Алеша, что-то случилось?.. У тебя такой взгляд, как у постороннего...  
— Не знаю, мам, — пожегился я от холода.  
Свежак вдруг рассеялся, явив нестерпимый запах мороженой рыбы.  
— Как не знаешь? Не пугай меня...  
— Нет-нет, не пугайся, — сказал я, зажимая нос, — это я не знаю, что с Эммой... Ее не было в школе, ее нет дома...  
Мама понимающе кивнула и тоже зажала нос:  
— Ну и волокуша!.. Ну и ветхий ветер!.. Пора, мой хороший, надо убираться отсюда... Да и замерз ты, кажется, порядочно...  
— Значит, и — на коня?  
— И — на коня...  
В другой раз я, наверное, посчитал бы, что со мной говорят не как со взрослым. Теперь же обошлось без этой глупости.  
«Ну, какой еще взрослый... — давило меня, пока шел домой, пока мыл руки и садился за стол. — Я — жалкий подросток. Не был бы им, то знал, как поступить. Отыскал бы Эмму — «нежный мой далекий неповторимый цветок...» А так только романы завершать, что, мол, «из подростков создаются поколения...» Маме этот извилистый роман, кстати, дико не нравится... А вот я люблю... Напоминает наше случайное семейство... Нет-нет, я не о маме, конечно... А вообще, о нашем семействе без отца...»  
— А почему отец снова обзяться браком не захотел? Ну, с той... Э-э, женщиной так живет...  
От неожиданности мать чуть солонку в борщ не уронила:  
— Живет, как живет. Что я могу тут знать?  
— А я думаю, тут по Гоголю вышло.  
— Это как же?  
— А так... Рисовал, рисовал да и зарисовался...  
Мамины губы по-заячьи ежились в улыбку:  
— Ага, художник твой отец от слова «худо»!  
— Не помнишь, — сказал я и почувствовал во рту печально-сладковатый привкус, — когда мы в Сочи были? До олимпиады или после?  
— После. Да-да, после.  
— А ты не помнишь...  
Но мама не дала мне договорить:  
— Послушай, не надо меня жалеть... Я — не жертвочка...  
— Конечно, не жертвочка... Но почему бы мне не пожалеть тебя?  
Я глотнул воздуха, чувствуя, что у меня внутри некий свисток, и дунул:  
— Ты ночами плачешь, я же знаю...  
— Значит, знаешь... Но ты никогда...  
— Не спрашивал... — заторопился подыскать я нужное слово. — Да потому и не спрашивал, что дурак...  
— Может, ты надеялся, что он вернется?  
После некоторого молчания я ответил:  
— Может быть, мам... Только это все равно.  
— В каком смысле все равно? — моляще шепнула она.  
Я взял ее руки бережно, как будто согревая, и приложил к своим вискам:  
— Чувствуешь, как у меня там колотится?  
— Успокойся, мой хороший, мой добрый мальчик...

— И что же тебя убедило, что я именно такой? — запытал я. — Мой наивный румянец?

— Сердце убедило. Понятно?

— Теперь понятно, — коснулся я своих губ, сухих, как бумага. — А знаешь, мам, если я когда-нибудь и напишу книгу, то обязательно о тебе... Согласна? Каков будет твой положительный ответ?

— Я согласна, Алеша, — печально улынулась мама, глядя в какую-то невидимую для меня точку. — Только учти, что «без фактов чувств не опишешь».

— О, я учту, ведь «так писать — похоже на бред или облако».

Будто что-то перещелкнуло, и мама вдруг повеселела:

Сонм видений  
и идей  
полон  
до крышки.  
Тут бы  
и у медведей  
выросли бы крылышки...

— Твой любимый Маяковский?

— Да, мой любимый Маяковский.

— Мы скоро начнем репетировать его пьесу.

— Да уж слышала на собрании... Вы хоть больше не курите, куряки? — Она отпрянула от меня, пытаюсь сделать суровым свое милое веснушчатое лицо. Впрочем, попытка не удалась.

Я же посуровел основательно и уронил:

— Нэт, больше нэ курым...

То ли потому, что я исковеркал окончания в словах, то ли еще почему, но нас обоих это рассмэшило. Да-да, именно так, на грузинский манер и надо произносить.

...И как же не смешно было нам, бывшим курякам, все шесть дней и еще кусочек дня до зимних каникул! Самую, пожалуй, долгую череду дней в четверти!

Поскольку Владимир Необходимович обретался в странном отпуске, то литературу подвизалась вести самолично Спивакова. Наслышанная, видимо, о соколовской методе, Галина Петровна кинулась пичкать нас житиями святых. И особо — о Петре с Февронией. Еще чуть-чуть, и мы возненавидели бы муромских чудотворцев.

Наиболее непостижимым для меня было как раз то, что у Спиваковой, не имевшей ни семьи, ни детей, была такая тяга к «главным символам супружеской жизни». А впрочем, наверное, вот этим ее сиротством все и объяснялось. В какой-то момент мне даже стало жаль Галину Петровну — эту хрупкую женщину, зараженную суевериями. Не знаю, чем бы это все закончилось? Не исключено, что я у нее за что-нибудь и прощение попросил бы. Но тут из отпуска возвратился наш Ясный Сокол.

Я почему-то увязывал его недельное отсутствие именно с Эммой, которая, к слову, так и не возвратилась. А что же Владимир Необходимович? А Владимир Необходимович вошел в класс в последний пред каникулами день, дабы выставить нам четвертные отметки и объявить о скором начале репетиций «Клопа».

...Ночь быстро слиняла.

И к счастью, что быстро, поскольку за нею воспоследовали навязчивые сновидения. Не знаю, как такое возможно, только вот опять снились аббат Фариа и Эдмон Дантес.

И была «свеча с каплей огня наверху».



И было все как-то промельком. Даже ответы.

«Ответы приходили как бы с того света...»

Когда старик отдал душу Богу, будущего графа Монте-Кристо осенило. Тусклые глаза блеснули. Он перетасил Фариа в свое узилище, а сам пробрался назад, чтобы зашить себя в мешок — за четырнадцать лет заключения он, бывший моряк, владеть иголкой с ниткой еще не разучился.

Малое время спустя мнимый покойник был подхвачен жироватыми руками стражников и под грохот пушки и рев ветра сброшен со стены замка Иф в бедоносное море. Выпутавшись из мешка, он отплыл подальше — «ветер, пловцам благовеющий друг» — и был подобран проходившим мимо судном контрабандистов.

И вот уже замершился остров в Средиземном море, и засверкали найденные сокровища. И возвратился с ними Монте-Кристо в милую сердцу Францию, и отыскал женщину с глазами цвета белого вина, и стал помечать вражинам грудки красными метками... Нет, не за Францию, конечно, а за ту женщину и за себя... И было лицо у него, как у человека, «который пытается вспомнить вкус какого-то забытого им блюда».

Признаюсь, наутро, когда в мозгу прорезалась светлая щель, меня едва не тошнило от картин, навеянных пером Дюма-отца. Возможно, что именно тогда он мне и разонравился.

Расплевавшись с Дюма, я взялся за Маяка.

## 8

«Взялся за Маяка» — это я, конечно, оторвал.

Ну, в том смысле, что я же не Мейерхольд с его «*idée fixe*» и видением, как верно взяться за Владимира Владимировича. А ведь тот и сам, надо сказать, «всегда угадывал всякое верное и неверное сценическое решение именно как режиссер». И был, кстати, вторым режиссером у Мейерхольда на постановке «Клопа». Что делал? Да начитывал актерам фрагменты пьесы, создавая нужные интонации и расставляя смысловые акценты.

В общем, я не то чтобы взялся за Маяка, скорее, прямо приступил к делу. Обложился альбомами и книгами, накачал в ноутбук спектаклей и музыки. Стал, что называется, пропитываться искусством. Ну, то есть «театром свободного актера, театром духа, в котором все внешнее зависит от внутреннего». И вдруг я пришел к умозаключению, что Соколов будет работать над «Клопом» с оглядкой на мейерхольдовскую постановку.

«А на какую же еще, если не на мейерхольдовскую...»

— А впрочем, не знаю, не берусь решать...

«Должно быть, истина, как и всегда, где-нибудь лежит посредине...»

И тут я случайно глянул на себя в зеркало:

«Маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы...»

— Позлащенной луны только не хватает, — как-то криво улыбнулся я.

Некоторое время я корчил рожи перед зеркалом, но потом мысленно отругал себя и вернул в лоно театра:

«Лучшие пьесы всех времен и народов, на мой, естественно, вкус, у Гоголя... Э-э, у Гоголя таковых две... Одна, но зато какая, у Грибоедова... И пять у Вампилова... Впрочем, и у Маяковского пьеса не слабее... Ведь не слабее! Где же Щен порылся? А вот где... Великолепный язык, отменное сценическое действие... Как раз то, что и нужно театру... И да, пьеса очень смешная... Уж я смеялся, так смеялся...»

— Комедия не универсальный клей-порошок, — вылетела вдруг фразочка Маяка, — клеит и Венеру, и ночной горшок...

«А ведь Маяку досталось за пьесу! — ужалило меня. — Помню, читал... Э-э, в потрепанной маминой книжке... Как он был вынужден объясняться...»

Обведенное карандашом место в той книжке нашлось почти сразу.

«У меня в пьесе, — увещевал Владимир Владимирович рабкоры „Правды“, — человек, с треском отрывающийся от класса во имя личного блага... Я не хочу ставить проблему без расчета уничтожить ее корни. Дело не в вещах... Если рабочие говорят, что я мало подошел к ним, — буду еще подходить...»

Я немного сбился, помялся, но продолжил чтение:

«Но надо, чтобы и вы подходили... Когда говорят о том, что в „Клопе“ нет положительных типов, мне вспоминается „Театральный разъезд“ Гоголя. Критика похожая. В „Ревизоре“ тоже нет ни одного положительного типа... Мы на положительных типах засохли. Присыпкина через пятьдесят лет будут считать зверем. Мне сегодня вечером надо писать пятьдесят лозунгов только на одну тему: надо мыть руки. Если вы говорите, что рабкоры пишут о том же мещанстве, — это похвала мне: значит, вместе бьем и добьем...»

Книжка вывалилась из рук, нехорошо ударилась об пол.

— Вот били и добились Маяка! — сорвалось у меня как-то само собой, и я, подняв затрепанный том, бережно поместил его на полку.

Твердым я оставаться не мог: было ужасно досадно за любимого мамино поэта. Выскакивали вот эти трагические строки:

Я хочу  
быть понят моей страной,  
а не буду понят, —  
что ж,  
по родной стране  
пройду стороной,  
как проходит  
косой дождь.

«Он хотел быть понят... Только проваливалось уже все в тартарары... До вынужденного самоубийства оставалось пять лет... Четыре, три... И вот наконец «последнее перышко сломало спину верблюда...» А впрочем, сам Маяковский относил себя к лошадям... «Деточка, — поэтизировал он, — все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь...»

И тут меня пронзила другая мысль: «А что же значит — с оглядкой на мейерхольдовскую постановку? Мейерхольд, как я понял, при работе над спектаклем использовал стилистику плаката, театральной агитации... Ну, да... „В каждом из героев выделялась некая доминирующая черта...“ Э-э, в Иване Присыпкине — „монументальное холуйство“, в Розалии Павловне Ренесанс, его теще, — „нэпманская предприимчивость“, в невесте Эльзевире Давидовне — „феноменальная глупость“, а в Олеге Баяне — „склонность к подхалимажу“... Нет-нет, Соколов наверняка привнесет в спектакль что-то еще... Может, вторую часть сделает более замятинской? Антиутопической, что ли? Ну, подобной „Мы“, я надеюсь... В любом случае это я ему теперь предложу...»

Я как бы оглянулся.

И как бы воочию увидел город будущего: «...в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество номеров, изменивших разуму...»

— Гм, у Маяка же — легкая насмешка... В изображаемом им будущем искусственные деревья, на которых разложены тарелки с мандаринами, яблоками и флакона-

ми духов... И люди, не знающие слов «бюрократизм», «богоискательство», «бублик», «богема», «Булгаков»...

На Булгакове я и запнулся. Точно провод тогда оголился.

«То есть никаких тебе бунтов, — тряхнуло вдруг основательно, — и стен из высоковольтных волн. — Никаких тебе... „Мы победим. Потому что разум должен победить“. Ну, даже близко никаких...»

В таких анафемских думах я и провел вечер.

А уже за полночь познакомился с сюитой и интермеццо Шостаковича, написанных им для «Клопа». Не особо они мне, признаюсь, понравились, но судить не берусь. Сам Дмитрий Дмитриевич, как оказывается, тоже не брался судить, понравилась Владимиру Владимировичу его музыка или нет. Тот ведь как... Прослушал и кратко сказал: «В общем, подходит!» А в общем, Маяковский ведь и хотел, чтобы музыка первой части спектакля напоминала «пожарный оркестр», а второй — простоту... Э-э, была бы «простой, как мычание...»

— На месте Шостаковича я непременно обиделся бы.

Я покосился на окно — было очень темно, черно — пейзажа никакого.

«А по-моему, тот и обиделся... Шопен, Лист, Скрябин „лучшему, талантливейшему“, значит, любви-дороги... А вот композитор Шостакович годится для медных труб, мычания и только...»

— Алеш, что ты такое слушаешь? — спросила, заглядывая ко мне в комнату заспанная мать.

— Ничего особенного, — всполошился вдруг я, — так, один марш...

— Тогда наушники надевай... Я спать не могу... Голова распухла...

— Извини, мам!

— Извини, извини... Мне, вообще-то, завтра на пашню...

— Ну, не обижайся... Хочешь, я завтра уборку сделаю?

— Кто же не хочет? Делай!

— Договорились. Спокойной ночи, мамуль!

— И ты давай-ка ложись, делатель!

— Да-да, сейчас лягу.

...Впереди какая-то зеленость.

Пригляделся — стена из высоковольтных волн. Волны эти шипят и змеятся. Будто предупреждают: «Не влезай — уьем!» Я и не влезая, только гляжу, как забвенный. Ну, в смысле, забытый... А потому забытый, что на поперечном, 40-м, проспекте, где удалось сконструировать эту временную стену из высоковольтных волн, я совершенно один. Трупы убраны, звери отогнаны, хаос не столь зрим. Да, такова мизансцена. Вместо того чтобы спать и видеть сны, я, порядком уже осовевший, инсценирую замятинскую антиутопию. Надеюсь присовокупить ее к пьесе. Получится ли?

— Владимир Необходимович сказал бы, если долго мучиться, что-нибудь получится...

«Ну нет, хорош мучиться, расхищая мысли... Надо спать...»

Я потянулся к торшеру — зелени как не бывало.

Ночь как сдурела.

Дурными были и обрывки снов, и сами сны.

А может, дремучие туманы?

Те, что и не дают насладиться дарами снов?

Наутро же идея с инсценировкой никуда из головы затуманенной не улетучилась, как, впрочем, и идея сыграть Присыпкина. Только теперь я уже не сомневался, что

в первой части спектакля играть героя моего надо как «обывателиуса вульгариса», а во второй как замятинского нумера, подвергнутого Великой Операции. Случилось бы она после разморозки и помещения несчастного Присыпкина в зоосад. Так вот, своеобразную лоботомию, превратившую подопытного в биологическую машину, сделал бы профессор. На роль эту я, разумеется, прочил Эмму. Предо мною даже мелькнул угол ее поднятых к вискам бровей.

— Она сыграла бы и молодую Зою Березкину! — вскричал я восторженно. — Ну, конечно...

В таком вот состоянии, известном, видимо, каждому сочинителю, я и завтракал, и заправлял постель, и убирался, выполняя данное маме обещание. И тут вдруг вышло-вспомнилось:

«— В горе есть и кое-что комическое... Это важно отмечать.

— Вы хотите, чтобы я смешил там, где хочется плакать? Такой комедии не существует.

— Тогда придумайте...»

Я придумал и теперь должен был известить Соколова.

## 9

Владимир Необходимович, надвинув шляпу на глаза, долго и изнервленно мерил шагами сцену актового зала. Взгляд главного режиссера был замкнут и словно обращен в себя. Он не обнаруживал никакой радости.

«Что-то в моем видении спектакля, — терзался я, — ему определенно не нравится... Может, я удалился от простоты первобытной?»

— Сложно объясняешь, — подтвердил он вдруг мою догадку. — Не множь сущности без необходимости, говорил Оккам... Сбрасывай лишнюю сложность в аргументации... Вник?

— Вроде...

Словно не его, а другие глаза глядели на меня:

— Так вроде или вник?

— Что ж теперь, все заново объяснять? — надулся я.

— Именно, именно, — закричал он... Простыми словами...

Соколов приостановился и кивнул в сторону приунывшей труппы:

— Они... вот они не понимают... Поскольку заблудились в чаще твоих беспорядочных мыслей.

— Ладно... Если не прибегать к сложным объяснениям там, где годятся простые, то, в общем...

Ну, в общем, со второго захода я все изящно изложил. Главный режиссер воспрянул, даже зачернели его глубокие и широковырезанные ноздри. Приободрилась, естественно, и труппа.

Кутилов, не удержавшись, даже наvertsел из латыни:

— Sapienti sat... Э-э, умному достаточно...

— Какой ты умный, Илюшенька, задним числом! — остро-насмешливо вклеила Эмма.

— Я... Ну, я, конечно, умный... Не то что некоторые...

— Согласна, некоторые, вроде тебя, просто обязаны омрачать мыслью лоб... Иначе их не почтут за умных...

— А ты... Ты выводил гулять свою мысль впереди себя, как обезьянку на поводке...

— Не зарывайся, плагиатор! — оборвал я Кутилова, не отрывая взгляда от упрямо-гибкой Эммы. Оборвал и получил ее улыбку-укол.

«Signora mia... — приятно кольнуло меня. — Моя синьора...»

— Слушаюсь, второй режиссер... Слушаюсь, Алексей Алексеич! А может, по-итальянски с вами изъясняться? Вы, кажется, большой любитель? Наверное, и мечтаете на этом птичьем языке... Ну, так извольте... Maledetto, sono stregato!.. Проклятие, я околдован!..

— Что у тебя за жалкий голос, похожий на голос приبلудной кошки? — парировал я. — Околдовать не околдует, а нервную сыпь вызовет...

— На это можно высморкаться! — взвизгнул в ответ он.

— Прекращаем балаган! — не дал разулыбиться никому лица Владимир Неоходимович. — Гореликов, Кутилов — это прежде всего вас касается...

— Как символично! — сказал Судейкин так, словно его уж точно это не касалось. — «Балаган» — дебютная мейерхольдовская постановка...

— Аркаша, Аркаша... Как обычно, ты знаешь все, но неточно, — сдвинул вдруг на затылок шляпу главный режиссер. — Во-первых, не «Балаган», а «Балаганчик» по драматическому произведению Александра Блока... А во-вторых, постановка не была дебютной... Ну с чего ты взял? Да, Всеволод Мейерхольд поставил модернистский спектакль — «переплетение форм марионеточного театра с театром живых актеров». Суфлер влезал в свою будку уже во время действия, актера, озвучивавшего авторский текст, утаскивали со сцены за веревку... Э-э, декорации были предельно лаконичными, а к концу спектакля и вовсе взвивались под потолок... Так вот, после премьеры в зале бушевали настоящие страсти. Одни зрители бешено аплодировали режиссеру, другие — освистывали его. О спектакле вышло множество критических статей, а в театре Комиссаржевской был постоянный аншлаг. «Балаганчик» стал театральной сенсацией Петербурга и первой постановкой российского «театра условности». Аркаша, ну ты принял в соображение?

— Угу, — заложил за ухо длинную рыжую челку Судейкин.

— Вот тебе и угу! — сказал Владимир Неоходимович, снимая шляпу, но не выдержал взятого серьезного тона и засмеялся. Завеселился искренне и беззлобно, как невинный ребенок.

Но вдруг погасил веселье, словно задался вопросом: «Где в людях в наш век веселость?» И бросил: «Все, распределяем роли».

— И будет нам счастье! — медоточивым голосом попытался очаровать всех Кутилов. — И будем за счастливое предзнаменование почитать...

Забегая вперед, скажу, что попытка не удалась.

— Милостивый государь Илюша! Говорят, где-то — кажется, в Бразилии — есть один счастливый человек... Надеюсь, понятно, что если ты снова изречешь какие-нибудь «мягкие, мохнатые слова», то роли своей не увидишь... — глаза Соколова стали блеснули. Он смерил Кадилова взглядом, как будто собираясь заколоть шпагой. У него даже появилась венецианская морщина на челе.

«Само собой прилипает к руке роковое железо...» — резануло тут меня, и я подумал: «С таким, как Соколов, даром не повеществуешь... В другой руке у него, верно, кинжал... Ну, там, под плащом...»

Илья внимал, кося в тревоге глазами.

Он словно оказался вчуже, словно лишился всего, кроме горевания.

«Вид твой красен, — резануло так, что мне стало жалко Илью, — но ни силы в душе, ни отважности в сердце...»

— Ребятушки, — брови Владимира Неоходимовича все еще были вытянуты в две жесткие черные линии, а сам он дышал боем, — Маяковский полагал, что театр — не отображающее зеркало, а увеличительное стекло. Вот и будем увеличивать... Гиперболизировать... Играть, становясь «какой-то выдуманной игрушкой Бога...» Благо

что инсценировка, предложенная Гореликовым и выводящая его на позиции второго режиссера, как тут уже справедливо было замечено, нам такую возможность дает... Знаю, Гореликов сам хотел бы сыграть Присыпкина... Но я хотел бы, чтобы ты, Алеша, занялся решением не менее сложной задачи — помог бы мне и труппе поставить «Клопа»... Особенно это касается второй части спектакля, которую для удобства так и будем именовать замятинской...

Главный режиссер остановился, заложил за спину обезьянью руку, а другою рукой ловко вернул на затылок свою широкополую шляпу, оглядел нас и продолжал:

— Именно поэтому Гореликов назначается вторым режиссером. Короткие аплодисменты! Алеша, дуй ко мне путеводить! Давай же, по локоть запуская руки в творчество... Ну, не будь мешком!

Когда я взшел на сцену, а может быть, и взлетел, Соколов продолжал:

— Значительная роль Присыпкина — Пьера Скрипкина, бывшего рабочего, бывшего партийца, а ныне жениха, таким образом, переходит к Кутилову. Да-да, Илюша, к тебе... К тебе же переходит и вся аховая ответственность... Взыскующая она... Осознаешь?

— Я... я осознаю... — замямлил, видимо крайне растроганный и при этом необыкновенно смиренный Кутилов. — Я впечатлею эту роль в сердце...

И тут их глаза встретились.

«Как взгляд матери и ребенка», — улеяло меня вдруг.

— Вот и впечатлей, Илюша! Только не будь кривым, как сабля... Чего согнулся? Держись прямо!.. И да, не буффон! Ну а мы продолжим... Эмме Вилкас, «твердой в опыте строге», и я, и второй режиссер, — Владимир Необходимович задел и меня ласковым взглядом, — прочим роль работницы Зои Березкиной... Вилкас предстоит сыграть и роль профессора. Далее же у нас в свитке... Эльзевира Давыдовна — невеста, маникюрша, кассирша парикмахерской... Это — Оскерко Женя, очаровательно-розово слушающая все, что ей говорят... А чего глазки цветут миндалем? Засмушалась? Право, не стоит... Гм, Розалия Павловна — мать-парикмахерша... Вижу, Столыпина, вижу. Не ковыряй рукой воздух, словно догадавшаяся, как вернуть счастье... Роль и так твоя... Ренессанс Давид Осипович — отец-парикмахер... Судейкин, сам понимаешь, — это твое, и только твое... Колотись, в общем, с вострухами... Сделай приятно! Да, и причешься, наконец! Или считаешь, что вечно причесанным быть невозможно?..

Соколов глянул на нас, как бы причесывая, и сказал:

— Еще одна значительная и, сразу оговорюсь, очень сложная роль Олега Баяна уходит к Адаскину Коле... Коля-Николай, ты чего разбледнелся? Смогешь? Вижу, сможешь... Э-э, милиционер — вездесущий Бессараб... Дима, ты — милиционер. Так, а Дима Кан, не менее вездесущий, — директор зоосада. Брандмейстер — Табель Стас, уже отчего-то багровый, как пламя факела... Иди в уборную, потуши!.. Пока Стас тушит, скажу... В команде у него — Завитуха, Иванов и Коржин... Ребятунки, вы — пожарные, только не путайте с пожарниками... Шафер на свадьбе — Текучев Максим... Где у нас Максим? Ага, вижу, Макс... Не обклеивай меня улыбкой, не пугай головой, едва объезженной щетиной!.. Так, дальше... Репортер — Чуфицкий... Да, Влад, и твою лысую, спелую голову наблюдаю... Спасибо, и не лежи в кресле!.. Это тебе не алтарь, а ты не украшенная для заклания жертва... Рабочие аудитории — наши неразлучные, как кристаллики соли, Аляев и Туголуков... Председатель горсовета — Атаманов... Ген, постигаешь, да?..

Атаманова, словно невидимые руки вытянули из кресла.

— Садись, Ген, — заторопил Соколов, — и не смотри какими-то линиями глазами!.. Так, роль оратора... Э-э, сыграет Белых Иван... Он же Эйван Белью... Ладушки? Ладушки! Так, вузовцами будут не тоскующие об оковах Помазан Марина и Скоро-

денек Лена... Распорядителем празднества — Брова... Володь, да? Хорошо!.. Только ты, это... не кань на сонное дно... «Сын лени вдохновенный...» Президиум горсовета — сановитые, словно для того и рожденные, Цуканов и Бригадиров... Охотники — Вдовенко и Волик... Смотрите не промахнитесь!.. «Светлую кровь извлеките...» Дети, дети у нас — Лапшова, Яриловец и Толбухина... Как мыло с водой перемешанные... Ну а старики — Великжанин и Висков... Паша, Андрей — вы у нас старики... Старики, а не жены-вдовицы... И зарубите себе на носу: «пожилая луна улыбается чернильно...» Это — все! Все роли. Аминь и аллилуйя!

...Дверь в учительскую, пожаловавшись, приотворилась.

Кто-то сунулся было, но передумал — и снова дверная жалоба.

Я вздрогнул и ухватился взглядом за цифры на часах. Потом поискал спасения вокруг. Но белесых стен учительской, белесых же шкафов ее, а также розария, учрежденного Спиваковой, я не узнал. Не узнал я, впрочем, и человека с большой головой и окладистой бородой, которому повествовал о Соколове уже битый час точно. За мною, надо сказать, такое водится — кого-то или что-то порой не узнаю ни черта! Особенно если запредставляюсь.

«Театр одного актера... — подвертелось вдруг. — И этот актер — я...»

— Алексей Алексеич, вы что замолчали? — встревожился бородач. — Или все уже рассказали?

Ассирийская борода колыхнулась — и я вдруг узнал в бородаче следователя Сущего, а заодно и весь интерьер вокруг.

— Да, Константин Иваныч, я все уже рассказал... — припомнилось тут и имя-отчество Сущего. — Полагаю, что остальное вы и без меня знаете... В день премьеры «Клопа» случился скандал: Эмма Вилкас, ее старшие сестры, Инга и Кира, были арестованы и обвинены в убийстве родителя... Словом, невообразимый скандал... Именно из-за дикости своей невообразимый... Ну и никакой, разумеется, премьеры...

— Были не арестованы, а задержаны...

— Простите, Константин Иваныч, но сути это не меняет...

Следователь не стал возражать, и я разохотился:

— А вы не могли бы показать мне соколовский дневник? Ну, когда это будет возможно...

— Твердо не обещаю, — не отводя взгляда, начал Сущий, — но...

— Этого... этого «но», вполне достаточно... — заторопился я зачем-то заверить Константина Ивановича.

— Да-да, — заторопился и следователь, останавливая диктофонную запись. — Так и условимся...

— Обождите... Но вы не поинтересовались обстоятельствами смерти Соколова...

— И не поинтересуюсь... Ведь я составлял именно психологический портрет. Ну а все «обстоятельства» Соколов изложил в дневнике. Последняя запись была, кстати, озглавлена весьма симптоматично... Э-э... «В Персию»... Как говорится, его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть...

Сущий раскрыл телячьей кожи портфель, упрятал диктофон, поправил большие очки и, стиснув медвежатую на прощание руку мне, удалился. Я внимательнейшим образом осмотрелся, задержав взгляд на пепле розария. Потом затянул перед зеркалом узел черного в белый горошек галстука и наконец вышел из учительской, как из прошлого.

Мне предстоял урок.

«Сорок пять минут Грибоедова...»

Я шел по коридорам, едва замечая детские солнца лиц, и обмысливал-повторял: «Урок — такой же ритуал... Исполняй его... Как некий послушник Иоанн... Каждое утро на заре Иоанн наполнял ведро водой и отправлялся в путь. Он взбирался на гору и поливал сухое дерево, а вечером, когда темнело, возвращался в монастырь. И так продолжалось целых три года. Но в один прекрасный день Иоанн поднялся на гору и увидел, что его дерево все покрыто цветами...»

И тут звонок обнаружил конец перемены.

И тут же себя обнаружили дети, эти солнышки, которых я до того почти не замечал, — шум и топот были такие, словно стенка на стенку идет. Екая селезенкой, я даже приостановился возле кабинета литературы, чтобы не вовлечься в сие воинственное движение.

«Во говорезы! — обстигло вдруг. — И улыбки как шрамы...»

Но стоило скольному коридору осиротеть, как тотчас же расцвело-вспомнилось:

«Что ни говори, а метод, система — великое дело! И я говорю сам себе, что если каждый день в одно и то же время делать какое-то одно и то же дело, как ритуал, непоколебимо, систематически, каждый день, точно в одно и то же время, то мир изменится. Что-то в нем изменится, иначе и быть не может...»

— Быть не может, чтобы Владимир Необходимович не подписался под каждым этим словом...

И вдруг обрезало: «Нет больше Владимира Необходимовича — изъят из жизни... И все летит, тает, падает, не за что ухватиться... А ведь он еще и не начал кормить свой сорок седьмой год...»

И невесело как-то вымолвилось:

Годы чайки  
 Вылетят в ряд —  
 и в воду —  
 брюшко рыбешкой пичкать.  
 Скрылись чайки.  
 В сущности говоря,  
 где птички?

«Где они... „Как вырваться из рук смерти, как пройти сквозь узкую дверь обнаженного времени?“ Нет ответов... Нет и нет!»

...Я стоял возле кабинета литературы, словно дожидаясь какого-то известия. На самом же деле я пытался найти во мраке памяти что-нибудь ценное, связанное с Владимиром Необходимовичем, но не находил. «Не такой это момент...» Я оставил попытку и, как медведь, ввалился — о нет, не в лес! — в класс, готовый к каждодневному ритуалу службы.

— Под запись, — сказал я, невольно передавая незабываемую интонацию следователя, — семнадцатое апреля две тысячи девятнадцатого года... Пишем, ребяташки!.. Всем положено умереть, навеки замолчать и уже никогда ничего не хотеть... Это говорит Курт Воннегут в «Бойне № 5», и то, что он говорит, созвучно теме нашего урока — «Смерть в Персии». Итак, Александр Сергеевич Грибоедов убит в Тегеране толпой религиозных фанатиков тридцатого января тысяча восемьсот двадцать девятого года. Тело посланника настолько изуродовано, что его удастся опознать только по следу на кисти левой руки, полученному в знаменитой дуэли с Якубовичем...